

Е.А. ЦУРГАНОВА

**«АМЕРИКАНСКАЯ ПАСТОРАЛЬ» ФИЛИПА РОТА:
ОТ ПАСТОРАЛИ К ПОСТМОДЕРНИЗМУ**

Созданный в «век постмодерна» роман Ф. Рота «Американская пастораль» (1997) – знаменательное событие в современной литературе. Это то самое «метаповествование», «великая история», которая отражает вечные общечеловеческие проблемы: поиски идентичности, взаимоотношения поколений, конфликты отцов и детей, представление о труде и знании как средстве достижения счастья, конвенционализм как основа согласия большинства относительно чего-либо.

Сегодня «мы являемся свидетелями раздробления, расщепления “великих историй”», – пишет французский исследователь Ж.-Ф. Лиотар, который и ввел в словарь постмодернизма термин «метарассказ». Этим термином Лиотар обозначил все те «объяснительные системы», которые, по его мнению, организуют общество: религию, историю, науку, психологию, искусство – любое знание. «Если все упростить до предела, то под “постмодернизмом” понимается недоверие к метарассказам»... «Консенсус стал устаревшей и подозрительной ценностью»¹.

Доведенная до своего логического предела, доктрина разногласия приводит к тому, что любое общепринятое мнение или концепция рассматривается как подстерегающая современного

¹ Lyotard J.-F. La condition postmoderne: Rapport sur le savoir. – П., 1979. – Р. 100.

человека на каждом шагу опасность поглощения его сознания очередной «системой ценностей».

«Американская пастораль» Филипа Рота противостоит этой тенденции расщепления «великих историй», раздроблению их в мире всеобщей нестабильности, когда внимание концентрируется лишь на «единичных фактах» и локальных процессах. «San Francisco Chronicle» характеризует книгу Рота как «прописанный до последней детали роман. Его страницы заряжены энергией одного из самых глубоких писателей современности». Это подлинно *реалистический* роман. Рот поставил перед собой задачу показать в частной судьбе героев отражение и преломление жизни страны, детерминировать самые разнообразные явления, вскрыть их внутреннюю связь и взаимозависимость. Художественная ткань романа многомерна: в зависимости от угла зрения она предстает то как философская аллегория, то как этический символ, то как почти документальные картины быта. Рот называет свою историю пасторалью, расширяя и наполняя этот жанр остросовременным содержанием.

Особенность реалистического метода Рота состоит в том, что он не навязывает читателям свои этические постулаты. Его художественные образы имплицитно обобщают социально-политические и психологические закономерности современности. Реализм Ф. Рота – в воплощении возможностей существования сообщества людей, освобожденных (пусть лишь в отдельные моменты, подобные пасторальной жизни США в 1950-е годы) от борьбы за сохранение своего непосредственного бытия.

Роман Рота отличает глубокое исследование тайны человеческой личности, осознание человеком себя. Он решает эту проблему как на позитивном материале – образ Шведа, понявшего и принявшего свою миссию *человека*, с вытекающим отсюда пронзительным чувством ответственности за свои действия, – так и на негативном – образ Мерри, ставшей преступницей по отношению к феномену собственной личности и обществу. Предательство по отношению к себе приобретает в романе мифологические черты крушения постмодернистской личности, выражающиеся в отсутствии чуткости к органической, пасторальной красоте мира и своей созвучности ей при всем ощущении предельно жестоких жизненных ситуаций.

Рот ведет повествование от лица одного из героев, одноклассника младшего брата Шведа, ставшего впоследствии известным писателем, – Натана Цукермана. Выбор в качестве рассказчика писателя не случаен. Выполняя свою главную функцию универсального познания мира, литература благодаря уникальной художественности своего дискурса, отличающей его от любого другого типа речевой практики, способна, по убеждению Рота, не только выявить, обобщить, но и олицетворить все многоаспектные явления изображаемого.

Сеймур Ирвинг Лейвоу был ослепительно красив: «Ни у кого из нескольких блондинистых евреев нашей почти стопроцентно еврейской бесплатной средней школы не было ничего похожего на волевой подбородок и застывшую на лице бесстрастность этого светловолосого голубоглазого викинга, родившегося в нашем роду-племени» (с. 9)¹. Юноша был уникально одаренным спортсменом: нападающий в футболе, центровый в баскетболе, первый базовый в бейсболе.

В первый день на первом уроке физкультуры тренер и всеобщий любимец Генри Уорд крикнул этому четырнадцатилетнему долговязому мальчишке с сияющими голубыми глазами, «играющему так легко и изящно»: «Где ты этому научился, Швед?» (с. 269). «Прозвище словно приросло. Короткое словцо, обращение, давно бытовавшее в американском сленге... превратило юношу в миф, каким он никогда не стал бы под именем Сеймур... Он носил это имя с собой, как паспорт-невидимку, заходя все дальше и дальше в глубь американской стихии, решительно эволюционируя в высокого, общительного, оптимистического американца (с. 270). «Во время войны... звук этого имени завораживал в наших кварталах Ньюарка всех, даже взрослых, всего лишь поколение назад переселившихся из старого городского гетто на Принц-стрит... Звук его имени завораживал, как завораживало и его удивительное лицо» (с. 9).

В жизни Шведа, казалось бы, сбылись все его мечты. Он женился на красавице «Мисс Нью-Джерси», унаследовал процветающую отцовскую фабрику по изготовлению дамских перчаток,

¹ Рот Ф. Американская пастораль. – СПб.; Москва: Лимбус пресс, 2007. – 539 с. Далее страницы даны по этому изданию.

сделался владельцем старинного особняка в Олд-Римроке. «Что могло, и могло ли, исказить траекторию жизни Шведа?» Филип Рот с философской глубиной и художественным мастерством отвечает на этот вопрос всей тканью своего романа. «Никто не проходит по жизни без встречи с бедой, поражением или потерей. Даже те, кого это миновало в детстве, рано или поздно получают среднестатистическую дозу, а иногда и большую»... «Приходит понимание жизни, приходит и понимание ее конечности. Но в какой форме то и другое могло войти в душу Шведа?» (с. 33).

В трехчастной полифонической композиции романа – «Воспоминание о рае», «Потерянный рай», «Грехопадение» – Ф. Рот неоднократно возвращается к одним и тем же эпизодам, углубляя их, показывая с точки зрения разных действующих лиц. Герои обретают многомерность, полноту воплощения, объемность.

Уже в первой части известна общая канва жизни Шведа вплоть до смерти от ракового заболевания. Но его история углубляется и вырастает до грандиозных обобщений и детализации в последующих двух частях. Жестоким оказался сам факт разрушения этого несокрушимого человека, сломивший его жизнь. «Его благородная внешность, его фантастическая жизненная сила, его слава, наша уверенность в том, что будучи героем он свободен от всех сомнений, – все эти отличительные мужские черты странным образом спровоцировали что-то вроде политического убийства, что заставляет сравнивать его судьбу... с судьбой Кеннеди, Джона Ф. Кеннеди, другого любимца фортуны, бывшего всего на десять лет старше Шведа, блестящего олицетворения Америки, предательски убитого еще молодым всего за пять лет до того, как дочь Шведа выразила свой яростный протест против войны Кеннеди–Джонсона и пустила под откос жизнь своего отца» (с. 112).

Обожаемая Шведом дочь Мерри, «девочка, одаренная золотистыми волосами и логическим умом, высоким интеллектуальным коэффициентом и взрослым чувством юмора, включающим и самоиронию, длинными стройными ногами, богатой семьей, несгибаемым упорством особой, только ей присущей выделки... Гарантии благополучия, здоровье, любовь, все мыслимые и немыслимые преимущества за вычетом одного: возможности небрежно заказать гамбургер» (с. 126) – она заикалась.

Дочь положила «конец взлелеянному в мечтах американскому будущему, которое, несомненно, должно было прийти на смену здоровому американскому прошлому: ведь каждое следующее поколение распознавало ограниченность предыдущего, умнело и делало шаг вперед... ближе ко всему спектру прав, даруемых Америкой, к образу идеального гражданина» (с. 114–115). Мерри и 60-е годы развеяли созданную в мечтах Шведа утопию. «Дочь депортировала его из вожделенной американской пасторали в мир, противоположный пасторали, дышащий яростью, неистовством, отчаянием, – в кипящий американский котел» (с. 115).

Ф. Рот в лице своего повествователя размышляет «о шестидесятих и о неразберихе, вызванной войной во Вьетнаме; о том, что одни семьи потеряли детей, а другие – нет и что Лейвоу были из тех, кто потерял, – пополнили собой ряд семей, в которых культивировалась терпимость и доброта, благоразумная либеральность и доброжелательность, но выросли дети, которые обратились к насилию...» (с. 118).

Дочь Шведа стала террористкой. Она бросила бомбу в самое сердце своего отца. Она убила Хемлина, хозяина единственного в 50-х годах магазина в Олд-Римроке. Универсальный магазин Хемлина с почтой, в окошечко которой и была подложена бомба, и доской объявлений служил местом встреч старинной фермерской общине со времен президента Уоррена Гамалиела Гардинга. Здесь стояла первая школа дочки Лейвоу, на ступеньках магазина дети ждали родителей. Сюда каждую субботу приходил Швед, чтобы купить свежий номер «Ньюарк ньюс». Ему доставляло «несказанное удовольствие» идти целый час пешком по холмистой дороге. Швед любил это пронизанное пасторальными эмоциями место. В старой «Ньюарк ньюс» содержалась специальная рубрика, посвященная их району и называвшаяся «По Лакауанне». «А как красиво звучит само слово “Лакауанна”» (с. 406). Швед забирал с прилавка газету, где рукой жены Хемлина написано «Лейвоу», говорил хозяину: «Пока, Рассел», потом разворачивался и шагал назад до самого своего любимого большого старинного каменного дома и осеняющих его вековых кленов. «...и все, мимо чего он шел, умиляло его: белые изгороди пастбищ, холмистые покосные луга, кукурузные поля, овощные посадки, амбары, лошади, коровы, пруды, ручейки, ключи, водопады, заросли хвоща и жерухи,

лужайки и лесные массивы – все вызывало в нем восторженную любовь горожанина, только что переехавшего в деревню. Он шаггал и разбрасывал воображаемые семена» (с. 406). Швед всю жизнь любил этот рассказ про Джонни Яблочное Семечко, который «широким шагом, с мешком яблочных зернышек на плече, безмерно любящий землю, ходил пешком по стране и, где бы ни появлялся, всюду разбрасывал свои семена» (с. 403).

Вездесущий Джонни Яблочное Семечко повсюду сажал яблони. «Кто велел ему сажать яблони?» – спрашивала Мерри в том возрасте, когда детям уже рассказывают сказки на сон грядущий... и стоило ему начать рассказывать какую-нибудь другую историю... принималась кричать: «Джонни! Хочу про Джонни!» И когда по субботам Швед не мог отказать себе шагать пять миль туда и обратно в центр Олд-Римрока, он думал: «Ну я вылитый Джонни Яблочное Семечко!» В такие минуты Швед был «красивый на загляденье, большой, бесконечно привлекательный мужчина, счастливый в эту минуту всем, что дала ему жизнь» (с. 407).

В это «яблочко» и попала дочь Мерри, отказавшаяся от всего, чему учили ее отец с матерью. Швед и его жена-ирландка Доун тоже считали, что их «родители не улавливают новых веяний, не чувствуют реалий послевоенного мира, в котором люди вполне могут жить в согласии – всякие люди, бок о бок, независимо от происхождения. Мы новое поколение, и не нужны нам ничьи комплексы, ни свои, ни чьи бы то ни было» (с. 398).

«Но если ты не станешь восхвалять все католическое как твоя мать, а я не стану вслед за отцом утверждать, что евреи – это соль земли, тогда наверняка окажется, что вокруг много людей, которые не носятся с протестантизмом, как это делали их отцы и матери. Сейчас никто ни над кем не возносятся. Как раз за это мы и сражались на войне» (с. 398). Кстати, «получив аттестат Уиквэй-ской средней школы в июне сорок пятого, Швед на другой же день записался в морскую пехоту и был полон надежды принять участие в операциях, которые положат конец войне» (с. 24).

Любимый Шведом парень Джонни Яблочное Семечко – «не еврей, не ирландский католик и не протестант. Нет, Джонни – просто американец и счастливый человек» (с. 403). Рассказчик Натан Цукерман ловит себя на мысли, что Швед, должно быть, недоуменно размышлял до последнего дня своей жизни, каким образом

он стал игрушкой истории. «Как история, история Америки... добралась до тихого, несуетливого Олд-Римрока... ворвалась в размеренную жизнь семейства Сеймура Лейвоу и превратила ее в обломки. Обычно историю представляют себе очень долгим процессом, а ведь история творится в одночасье»... «Что произошло с этой страной за какие-нибудь двадцать пять лет: от славных дней его обучения в Уиквэйской школе до бомбы, взорванной в 1968 году его дочерью» (с. 117–118). «И он и она были частью гармонии. Такой чудесной гармонии. И что же случилось с этой чудесной девочкой? Она заикалась. И что? Что в этом такого ужасного? Что все-таки произошло с этим абсолютно нормальным ребенком?.. Самое что ни на есть страшное в этом мире затянуло в свой омут его ребенка» (с. 351).

Филип Рот в лице Шведа Лейвоу отчаянно ищет причины появления юношеского терроризма. «Они выросли в таких же домах, как у него. Их взрастили такие же родители, как он. И девочек, целиком отдавшихся политике, воинственных и агрессивных, любящих “экшн” с оружием в руках не меньше мальчиков, – множество. В актах насилия, которые они совершают, и в их жажде самоусовершенствоваться есть какая-то пугающая, бездонная чистота. Они отрекаются от своих корней, а взамен, в качестве примеров для подражания, берут самых несгибаемых революционеров, самых беспощадных борцов за свои убеждения... Их гнев взрывоопасен. Ради того, чтобы спихнуть историю с наезженной колеи, они сделают все, что только подскажет им их раскаленное воображение» (с. 328). «Молодежь взбесилась. Держит всех в страхе. Взрослые в растерянности, не знают, что делать... Дети переворачивают страну вверх дном, и у взрослых тоже начинается умопомешательство... Бездонная пропасть эгоцентризма. Но одно дело – разжиреть и отрастить длинные волосы, одно дело – включать рок-н-рол на полную мощность, но совсем другое – переступить черту и бросить бомбу» (с. 94).

Швед не мог понять этого. Он жил пасторальной жизнью США 1950-х годов и был счастлив. Один из авторитетных исследователей творчества Рота Д.Р. Роуэлл пишет, что Шведа мало беспокоили военные проблемы из-за его верности, преданности «эпистемам американского пасторализма» (to the epistemes of the American pastoralism). «Пастораль – это состояние ума, которое не

принимает конфликта, противоречий, неопределенности». «Это идеализированное благополучное (rags-to-riches) существование»¹. Мерри захвачена стихией антивоенной, антикапиталистической радикальной политики 1960-х годов. Она «испытывает неутолимый голод выжечь американскую политическую платформу и американский образ жизни (mainstream lifestyle) как политическое преступление» (с. 14). Мерри упрекает отца в том, что он не думает о таких же как у них семьях во Вьетнаме, а они хотят того же – быть счастливыми.

Швед не разрешает шестнадцатилетней дочери ездить одной в Нью-Йорк и ночевать неизвестно где, на что Мерри вопрошает: «А как же война?» Она считает, что в их родном Римроке политике тесно. Швед резонно отвечает: «Я отвечаю за тебя, а не за войну» (с. 143).

Американская исследовательница С. Байлунд в своей статье о бунте Мерри замечает, что Швед мирится с несправедливостями капитализма еще и потому, что эта система помогла еврейским иммигрантам ассимилироваться в США. «Говоря метафорически, Швед не хочет бить по руке, которая его кормит»². Дж. Капуто в работе «Между добром и злом» подчеркивает, что Мерри, пытаясь противостоять одному типу зла, по сути трансформирует себя в другой тип негативного зла – лишения жизни себя. «Хотя Мерри имела достаточно оснований, чтобы избежать привилегированного самодовольного пасторализма поколения своих родителей, ее собственная судьба оказалась совсем неаппетитной»... «Конфликт отца и дочери топит мечту американского пасторализма»³.

Позиция самого Рота остается открытой. Он понимал ее уязвимость и как писатель. Противопоставляя две противоборствующие стихии друг другу, он знал, что они обязательно погасят друг друга и создадут вакуум в сердцевине романа. Соответственно, в

¹ *Royal D.P.* Contesting the historical pastoral in Philip Roth's American trilogy // *American fiction of the 1990 S.* – L.: Routledge, 2008. – P. 20.

² *Bylynd S.* Merry Levov's BLT crusade: Food-fueled revolt in Roth's American pastoral // *Philip Roth studies.* – Baltimore: Purdue univ. press, 2010. – Vol. 6. – N 1. – P. 20.

³ *Caputo G.* Between Good and Evil // *Against Ethics: Contributions to a poetics of obligation with constant reference to deconstruction.* – Bloomington: Indiana univ. press, 1993. – P. 24.

нем не может быть и одного главного героя. Как бы ни сложилась дальнейшая жизнь Мерри (она осталась неизвестной), ее главная функция в романе – быть эмиссаром антипасторализма (emissary of counter-pastoralism). И это столь же важно для Рота, как пасторализм Шведа.

У Мерри все началось с отрицания домашней еды, фиксирует начало ее бунта С. Байлунд. С самого детства она использовала свое отношение к еде как средство мятежной манипуляции: сначала для сохранения автономии по отношению к ценностям и установкам семьи и затем – по отношению к обществу. Будучи подростком, она открыла для себя, что изменение ее вкусовых привычек способствуют ее «политическому авторитету».

Юная Мерри отказывалась есть завтраки, которые мать давала ей с собой в школу, – ей казалось, что школьные друзья могут подумать, что их завтраки беднее. Она придумывала всякие уловки, например, говорила, что хотела бы есть в школе горячий суп, но неизменно выливала его или разбивала специально купленные для этого термосы. Она выбрасывала всю домашнюю еду и оставляла только монетку, на которую покупала мороженое. Для Мерри было важно, чтобы она сама решала, что ей есть, – без материнской юрисдикции.

«Дома она почти напрочь отказывалась от еды, но зато в школе и на улице непрерывно что-то жевала: чизбургеры с картошкой фри, пиццу, жареные луковые колечки, а потом наливалась ванильными молочными коктейлями и шипучим лимонадом, лакомясь мороженым с патокой, поедала бесчисленные пирожные. Они [родители. – *Е.Ц.*] и оглянуться не успели, как дочь стала крупной шестнадцатилетней девахой – неопрятной, почти шести футов роста, с размашистой походкой» (с. 133). Родители недоумевали, что «эта девочка в своем черном акробатическом трико кузнечиком скакавшая с кресла на стул, а потом обратно в кресло, легко перепрыгивавшая с одних взрослых колен на другие, вдруг отбилась от рук...» (с. 132).

Тема еды, подчеркивает С. Байлунд, обладала особой остротой в американских семьях, прежде всего в семьях старшего поколения иммигрантов, каким был отец Шведа. Угроза голода в годы Великой депрессии формировала сложные отношения родителей и

детей, поведения во время трапезы, когда все лучшее старались отдать детям.

Известный американский критик А. Кейзин, такой же представитель еврейской интеллигенции, как и Филип Рот, в своей книге «Бродяга в городе» рисует впечатляющую картину американской жизни в годы, предшествующие Депрессии. Родителям зачастую приходилось добывать еду для детей силой. «Ешь! Ешь! Ты погибнешь, если не будешь есть! Какой грех я совершил, что Господь так наказывает меня с тобой! Ешь». «Благодаря родителям мы не имели шанса узнать, что такое голод»¹.

Мерри же с негодованием бросает в лицо отцу обвинение: «All you can think about, all you can talk about, all you c-c-care about is the well-being of this fucking l-l-little family».

Ф. Рот в лице Н. Цукермана фиксирует нюансы, которые свидетельствовали о стремлении Мерри к независимости и доминированию: школьная подружка Патти терпеть не могла, когда в ее присутствии разбивали яйца, – Мерри делала это специально, вызывая у девочки рвоту, она плавила сыр на куске фольги вместо нормального обеда после школы. Разбивание яиц, термосов, выбрасывание еды Цукерман называет выражением ее деструктивности (destructiveness). Отвращение к горчице было наиболее значимым в ее отроческие годы – до того, когда она начала отрицать капитализм (Байлунд, с. 17). «В дальнейшем диетические привычки Мерри приобретали все большую пасторальную окраску (pastoralism' heavy emphasis), направленность против благосостояния и единства семьи» (там же).

Ф. Рот пронзительно рисует два типа восприятия американской пасторали. «Три поколения. Росли. Работали. Копили деньги. Достигали успеха. Три поколения, бившиеся за Америку. Три поколения, вставшие в нацию. А для четвертого все так бесславно кончилось. Пришли вандалы и до основания разрушили их мир» (с. 306).

И тут же – развенчание пасторального успеха. Из дома, где Швед нашел свою дочь после совершенных ею терактов, он видел гигантский рекламный щит «Банк лучшей гарантии», «поставленный, чтобы заслонить собой правду». «Эти три ласкающие душу

¹ Kazin A. A Walker in the city. – N.Y.: Glove Press, 1958. – P. 18.

слова, способные как никакие другие, вселить в человека уверенность в завтрашнем дне, заявляли о финансовой стабильности, неизблемости государственных институтов, прогрессе, перспективах, чувстве собственного достоинства»... «Только сумасшедший мог поверить в эти слова. В этот сказочный знак» (с. 306). Вероятно, не случайно Ф. Рот поселил сюда свою бунтующую героиню, которая «жила еще хуже, чем ее нищие прадеды, когда они только-только приплыли на самом дрянном пароходе и поселились в доходном доме на Принц-стрит» (там же).

Молодое поколение чувствовало фальшь американских лозунгов, буржуазных ценностей и милитаристской политики. «Их охватывали судороги от погони среднего класса за карьерой, семейным благополучием, успехом, и они размахивали своим отчуждением как знаменем», – пишет исследователь ситуации 1960-х годов в США Т. Гитлин¹. Однако это знамя слишком тяжело легло на плечи Мерри.

После случившегося Швед превратился в сгусток самоанализа – искал причины в их с Доун воспитании дочери. «Она рано начала бунтовать, – так что и без войны во Вьетнаме им пришлось бы нелегко». Он корил себя за то, что не удержал ее дома. «Период упоения духом противоречия и собственной необузданностью мог у нее затянуться. Но она была бы дома... Дома не выйдет погрузиться в такое убожество. Дом исключает неупорядоченность. Дом – зияющий разрыв между тем, что она напридумывала о мире, и тем, чем он представлял перед ней в действительности». Что ж, этого диссонанса больше не существует, нечему посягать на ее душевное спокойствие. «Вот они, ее римрокские фантазии, в ужасающем сгустке» (с. 307–308).

Скованный «пасторальным параличом» Швед оставляет Мерри там, где он ее нашел. Швед не мог считать, что все случилось из-за ее заикания, с которым она пыталась бороться, но так и не справилась – ни с чьей помощью. Постепенно «из дефекта речи она сделала мачете – рубить всех лжецов и подонков. “Ну ты и б-бе-бестолочь! Ну ты и г-га-гадёныш” – орала она на Линдона Джонсона всякий раз, как его лицо появлялось в семичасовых но-

¹ *Gitlin T. The Sixties: Years of hope, days of rage.* – N.Y.: Bantam, 1987. – P. 27.

востях. В экранное лицо Хамфри, вице-президента она бросала: “Ты м-м-мерзавец (З-за-аткни свою лживую па-пасть! Трус, г-г-грязный к-коллорабационист!”» (с. 133).

«Решительно отказавшись от внешности и манер девочки-паиньки, которая стремится быть такой же милой и славной, как и другие примерные девочки Римрока, она отбросила всю эту глупую вежливость, оглядку на жалкое общее мнение и “буржуазные” ценности своей семьи... забыв о прежних помехах, она впервые в жизни почувствовала не только полную свободу, но и пьянящую силу абсолютной самоуверенности» (с. 134). Заикание перестало быть центром ее жизни.

«Мерри вербует еду как средство своей борьбы против мифической конструкции Американской Мечты» (Байлунд, с. 15). Предпочитаемая ею пища не только облегчала ее атаку на окружающий мир, но и помогала ей пережить мучительное одиночество, которое она испытывала, уйдя, скрывшись из дома после взорванной бомбы. «В Чикаго ее ощущение одиночества было почти физическим – как будто оно плотно облегалo ее со всех сторон и даже протекало сквозь ее тело. Не было дня, а в некоторые дни – и часа, когда бы она не решала позвонить в Олд-Римрок. Но, чтобы не дать видениям родного дома окончательно вывести себя из равновесия, она находила какую-нибудь забегаловку, присаживалась у стойки бара и заказывала бутерброд – бекон-салат-томат – с ванильным молочным коктейлем... откусывала от бутерброда, запивала коктейлем, тщательно пережевывала безвкусные волокна салата, выжимала во рту пахнущий дымком жир из подсушенного бекона, высасывала ароматный сок из мягкого помидора, заедала все залитым майонезом хлебом; она неторопливо двигала челюстями, перемалывая откусенные куски в питательно-успокоительную силосную массу... и эта сосредоточенность на поедании пищи поддерживала в ней способность жить дальше в полном одиночестве» (с. 332–333).

После последующих двух своих взрывов в Орегоне, лишивших жизни еще троих человек, Мерри освоила сборку взрывных устройств. «Вот тогда-то впервые заикание и стало исчезать. Возясь с динамитом, она никогда не заикалась» (с. 334). Она пряталась в библиотеках, где читала газеты и труды революционных мыслителей, осваивала Маркса, Маркузе, Малколма Экса и Фран-

ца Фанона, чьи сентенции она, ложась в постель, произносила наподобие молитвы, что «поддерживало ее дух примерно так же, как ритуальный молочный коктейль и бутерброд с беконом-салатом-помидором» (с. 336).

Но к моменту отъезда из Чикаго у Мерри уже «не было потребности в сколько-нибудь нормальном жилье; и никогда уже больше тоска по отчужденному дому и близким не хватала ее за горло» (с. 333). После убийства четырех ни в чем не повинных людей Мерри обратилась к джайнизму, с его концепцией ненасилия, ахимсы и салла хана – доведения себя до голодной смерти. «Ритуальная смерть посредством салла хана – это та цена, которую совершенный джайна платит за свое совершенство» (с. 314). Булемический бунт Мерри сменился анорексическим. «Выбрав голодание, она сама превратилась в хаос», – пишет С. Байлунд (с. 15).

Встреча отца с дочерью в ее жалкой каморке описана Ротом впечатляюще: «Они стоят и оба плачут навзрыд: отец – “каменная стена”, центр и оплот всякой упорядоченности, кто не мог бы проглядеть или потерпеть ни малейшего признака хаоса, для кого держать хаос в узде было интуитивно избранным путем к определенности, обыденной данностью; жестким требованием к жизни, и дочь – исчадие хаоса» (с. 300).

Таким выросло поколение детей, чье мужание пришлось на конец 1950-х – 1960-е годы. Хотя именно тогда Америка была наиболее близка к «Американской мечте». После Второй мировой войны она была самой богатой и процветающей страной в мире, для которой был открыт зеленый свет в будущее.

Эпоха финансового оптимизма в стране транслировалась на процветание каждой отдельной семьи, когда дети не будут испытывать бедность, болезни, поражения. Швед тоже хотел, чтобы у семьи и страны было все. Его воля и образ мыслей были направлены на это: «Постижение основ, оттачивание мастерства, послушание; безраздельная сосредоточенность на главном в жизни; преданность важнейшим вещам; рациональное выстраивание системы, скрупулезное изучение любой – крупной, мелкой – проблемы; и никакого дрейфа по течению, никакой расслабленности или лени; неукоснительная обязательность, полная отдача сил и энергии в любой ситуации... прямо Конституция США – этот список статей его веры» (с. 330).

К 70-м годам жизнь в США кардинально изменилась. Бунт молодежи и расовые проблемы подрывали романтические представления о благословенной Америке, нанесли сокрушительный удар по концепции «Американской мечты» и пасторальному мироощущению. Через пять лет после исчезновения Мерри из дома «бомбы взрывают повсюду. В Боулдере, Колорадо, на воздух взлетают офисы Военной медкомиссии и Управления Службы по подготовке офицеров запаса при Колорадском университете. В Мичигане – несколько взрывов в самом университете и динамитные шашки, закинутые в полицейское управление и помещение призывного пункта... Бомбы подкладывают в здания колледжей Висконсинского университета... в университетские корпуса Орегона, Миссури, Техаса. В супермаркете Питсбурга, в ночном клубе Вашингтона, в зале судебного заседания Мэриленда – бомбы взрываются всюду» (с. 193–194).

Отец Шведа Лу Лейвоу посмотрел однажды по телевизору сюжет о поимке двух еврейских юношей с высшим образованием из обеспеченных семей, скрывавшихся в подполье «прогнозистов», которые «не упускали случая встать на сторону злейших врагов своих родителей; строящих жизнь по образцам, ненавистным тем, кто их больше всех любит» (с. 324). Он в недоумении вопрошал: «Я помню время, когда еврейские дети сидели по домам и делали уроки. Что произошло?.. Что, черт возьми, случилось с нашими умненькими еврейскими детьми? Если родителям удастся... вырваться из-под гнета и перевести дух, так дети тут же бегут и сами себе находят какой-нибудь гнет. Не могут без этого» (с. 328).

Невиданную остроту приобретает также в США черное освободительное движение, опасность которого предвидел мудрый герой Рота Лу Лейвоу.

Еще со времен, предшествующих Гражданской войне, в США обнаруживали себя две тенденции в мироощущении черного населения Америки: черный национализм (Мартин Делани) и призыв к социальным реформам и интеграции (Фредерик Дуглас). После Второй мировой войны две главные фазы борьбы негров – движение за гражданские права 1954–1964; массовое черное движение 1964–1973 гг. Десятилетнее движение за гражданские права охарактеризовалось расширением и усилением сопротивления сегрегации, формированием ненасильственных активистских органи-

заций, философской расовой интеграции (Мартин Лютер Кинг). Но постепенно, вдохновленные примером антиколониальных движений в Латинской Америке, Азии и особенно в Африке, появились новые лидеры, призывающие негритянское население Америки к черному национализму, сепаратизму, бунтам, негритюду, африканизму (Малколм Икс, Клейтон Пауэлл-мл., Стоукли Кармичел).

Филип Рот называет в своем романе имя известного писателя Лироя Джонса, который в 1968 г. сменил свое имя на суахильское по происхождению – Амери Барака, считая американское имя «рабским».

Из-за восстаний негров в июле 1967 г. оказалась под угрозой фабрика Шведа и резко упало качество выпускаемой «Ньюарк-Мэйд» продукции – дамских перчаток. «Весь бизнес летит на помойку из-за этого сукина сына Лироя Джойса», – говорил отец Шведа... «Считают, что я получил это все готовеньким? От кого? Кто дал мне что-нибудь? Никто. Все, что у меня есть, я создал сам. Создал, работая! Ра-бо-та-я! Но они отобрали у меня этот город и теперь собираются отобрать мое дело – все, что я выстроил, день за днем, шаг за шагом. Они хотят превратить это в руины. И думают, что это принесет им счастье. Жгут собственные дома – вот как они расправляются с белыми! Не приводят дома в порядок, а жгут их. Жить в разрушенном городе – чернокожая гордость ликует от одной этой мысли! Большой город разрушен до основания. А им будет приятно в нем жить!» «Подумать только, что я давал им работу... дело всей моей жизни гибнет, потому что они не способны сшить перчатку точно по размеру... Они халтурщики, самые настоящие халтурщики, и это не простительно! Допустить брак в какой-нибудь операции – значит пустить насмарку все... Куда они спрятали свою совесть, после того, как проработали у меня двадцать пять лет?» (с. 215–216).

Отец умоляет сына уехать из Ньюарка. Но характер Шведа не позволяет ему все бросить на произвол судьбы. И вот он сидит совершенно один в здании последней фабрики, оставшейся в городе после погрома: «Выли сирены, грохотали выстрелы, снайперы палили с крыш в уличные фонари, толпы мародеров прочесывали улицы; дети растаскивали транзисторы, люстры и телевизоры, мужчины охапками тащили одежду, женщины катили детские ко-

ляски, под завязку набитые упаковками алкогольных бутылок и ящиками пива; мебель из магазинов вытаскивали прямо на середину улицы... перли стиральные машины, холодильники и плиты, крали не под покровом темноты, а среди белого дня... Звон разбиваемых витрин щекошет нервы. Не платить за товар – да от этого просто пьянеешь! Американский потребительский аппетит вырвался на волю, зрелище – глаз не оторвешь!» (с. 346).

Эти ужасающие картины – еще одна грань крушения американской пасторали у Рота. Чернокожие американцы раньше были другими. Например, начальница участка Вики тридцать лет проработала в «Ньюарк-Мэйд», хрупкая женщина с острым умом, выносливая, честная, мать двух сыновей-близнецов, ставших студентами медицинского колледжа. Вики, одна из всех, круглосуточно оставалась со Шведом в здании фабрики во время волнений 1967 г. – Вики «считает Анжелу Дэвис разрушительницей общественного спокойствия и так и говорит всем работницам фабрики» (с. 217). «Думаю, пришло время, – цитировала она слова Анжелы Дэвис, – когда всем нам следует преподавать хороший урок правителям этой страны» (с. 218).

Такой же урок преподавала им «римрокская террористка» – дочь Шведа. Как справедливо пишет С. Байлунд, «Мерри борется, чтобы подорвать романтические мечты о благословенной Америке, которые коренились в традиционных представлениях о капитализме, прогрессе, материальном благополучии, только для того в конечном счете, чтобы заменить их другим обобщающим и по сути менее рациональным комплексом представлений – постмодернистским» (с. 25). В результате поиски Мерри себя приобретают постмодернистскую окраску. Она воплощает постмодернистскую версию личности. Она безвозвратно теряет основы своей идентичности, просто лишается ее.

Ф. Рот в лице рассказчика Натана Цукермана размышляет о вызревании постмодернистского типа идентичности. Преодолевая свою поверхностность и ограниченность, ты стараешься подходить к людям без надуманных ожиданий, без груза предрассудков, надежд или высокомерия... подходить с полной готовностью к пониманию, как равный к равному, как (используя наше любимое изречение) человек к человеку, и все-таки ты обречен на непонимание... Непонимание происходит еще до встречи, в период, пока

ты ее ожидаешь, продолжается, пока вы общаетесь, и закрепляется, когда, придя домой, ты рассказываешь кому-то об этой встрече. И поскольку *они* в основном так же поступают в отношении тебя, любое общение – это сбивающая с толку бессмысленная иллюзия, обескураживающая фарсовая ошибка неверных интерпретаций. И все-таки как же нам обходиться с этой невероятно важной частью жизни, именуемой *другие*... Следует, разумеется, помнить и о том, что правильное понимание людей – это не жизнь. Жизнь – это их неправильное понимание, все большее в него углубление, добросовестный пересмотр своих умозаключений и снова неправильный вывод. Заблуждения – вот что позволяет нам жить дальше. И может, самое правильное – перестать беспокоиться о верности или ложности нашего взгляда на людей и просто продолжать идти по жизни. Если тебе удастся такое, ты счастливчик (с. 51–52).

Может быть, Швед был счастливчиком именно потому, что был в этом отношении абсолютно наивен. «Понимание внутреннего мира другого человека было умением или даром, которым он не владел. Он не знал комбинации цифр, позволяющей открыть этот замок. Видимость доброты он принимал за доброту. Видимость верности – за верность. Видимость ума – за ум. И в результате не сумел понять ни дочь, ни жену, ни единственную за жизнь любовницу. Возможно, даже и не приблизился к пониманию самого себя» (с. 521–522).

«Все это *понимание*, анализирование... по его мнению, враждебно самим основам жизни. С его точки зрения, все было просто. Нужно серьезно и спокойно, как это и принято в семье Лейвоу, выполнять все свои обязанности, и жизнь упорядочится сама собой; день за днем отдан череде ясных и осмысленных поступков» (с. 526).

«Дочка заставила отца прозреть. И возможно, именно этого она всегда и добивалась. С ее помощью он обрел зрение, и зрение настолько острое, чтобы отчетливо разглядеть то, что нельзя упорядочить, то, что нельзя увидеть... Он увидел, как трудно рассчитывать на то, что мы должны быть связаны друг с другом, и как редко мы в самом деле бываем связаны. Рождение, передача наследия, поколения, история – нет почти никакой надежды на то, что это действительно существует. Он увидел, что мы *не* связаны друг с другом, что эта связь – лишь видимость... Упорядоченность – это что-то редкое и случайное. Он всегда думал, что упо-

рядоченность пронизывает всю жизнь, а хаос случаен. Ему всегда удавалось отодвинуть его куда-то вглубь. Он сочинил свой мир, а Мерри его разрушила. Речь шла не о той конкретной войне, с которой она боролась, а о войне как таковой, и она принесла эту войну в Америку, принесла в свой родительский дом» (с. 533).

Но Швед остается собой, он не терпит никакого хаоса. Когда его семья рухнула – дочь, потеряв человеческий облик, являя собой «непередаваемый ужас» (*bizarre horror*), отказалась возвращаться домой, а жена не смогла жить в их некогда любимом доме, развелась с мужем и ушла к другому мужчине, – он тоже женился в стремлении вернуться к привычному для него состоянию «неосознанного единства с Америкой» («*unconscious oneness with America*») и начать новую жизнь в соответствии с этим. И если Швед пытается начать новую жизнь, то жизнь Мерри обречена. «Все, что делает Мерри, – это попытка до основания разрушить пасторальные нормы (*pastoral norms*) без всякой мысли о последствиях» (Байлунд, с. 23). Мрачная ирония ее матери подтверждает это. «Ты не против войны, – говорит она. – Ты против всего» («*You're not antiwar, you're antieverything*») (с. 23) – против всего, во что верили ее отец и большинство американцев.

Глубоко травмированный Швед хочет поговорить обо всем этом с Натаном Цукерманом, который, как он знал, «пишет об отцах и детях». Он пригласил его в ресторан «У Винсента», куда вошел еще маленькую Мерри, но раздумал говорить – и был прав. Ф. Рот тонко передает ощущение человека, который, надеясь облегчить душу, рассказывает кому-то свою трагическую историю. Но ему «становится не лучше, а хуже: обнажение, неизбежное при исповеди, только усугубляет страдание. И Швед понял это» (с. 110). Примечательно, что Швед позвал не кого-нибудь, а писателя, и он понимал, что делает, «а я все прозевал».

Историю Шведа и его дочери рассказал сам Филипп Рот. А Цукерман, сидя там, у Винсента, и слушая об успехах сыновей Шведа, «мысленно обвинял его в чудовищной банальности, а он рассказывал мне *эту* историю, приподнимавшую завесу над его скрытой и непознаваемой внутренней жизнью, историю трагическую, западающую в душу...» (с. 108). «Я был уверен, что в 1985 году, когда я встретил его на стадионе с маленьким Крисом, ужас был полностью побежден... второй брак, вторая попытка

жить полной жизнью, направляемой здоровым смыслом, должным образом защищенной... Вторая попытка быть обыкновенным любящим мужем и отцом, вновь присягнуть на верность установленным нормам и канонам – основе семейного устройства. У него был дар к этому, помогающий избегать разбросанности, всего необычного и всего предосудительного – того, что трудно оценить и трудно осознать. Но даже Швед... не смог, просто созданный для банально-незыблемого здравомыслия, не смог, последовав жестким советам брата Джерри, отмахнуться от мыслей об этой девочке, проявить стойкость и забыть о родительской ответственности, неистовой любви к потерянному дитяти... Никогда больше он не будет радоваться жизни так безоглядно и открыто, как радовался прежний Швед, которого он, нынешний, изо всех сил изображает перед второй женой и тремя сыновьями, чтобы сберечь *их* безыскусную цельность. Он стоически подавляет свой ужас. Он учится жить под маской» (с. 109, 110).

С иронией в заключение романа Рот пишет о том, что при всей своей преданности друг другу семейство Лейвоу собиралось вместе лишь раз в году, на День благодарения. И мать Доун – ирландка Дороти Дуайр, и мать Шведа – еврейка Сильвия Лейвоу, и все остальные, включая англосакса Оркатта, ставшего впоследствии вторым мужем Доун. Рот рисует этот обед как кульминацию американского пасторализма, «когда все едят одно и то же, и никому не приходится фыркать по поводу странных блюд. Ни клецок, ни фаршированной рыбы, ни горькой зелени – одна лишь огромнейшая индюшка на двести пятьдесят миллионов граждан... мораторий на любые странные кушанья, странные нравы, религиозную исключительность... мораторий на горечь и сожаления, накладываемый... на каждого американца, с подозрением посматривающего на того, кто от него отключается. Вот она, чистая американская пастораль, и длится она одни сутки» (с. 312).

В этот день и вернулась Мерри, что мгновенно почувствовал измученный Швед. «Она села в Ньюарке на поезд, проделала пешком пять миль от деревни до дома и пришла» (с. 533). В завершении романа – еще один потрясающий пасторальный контраст у Рота. Мерри проходит мимо всего, что так любит ее отец и что она так ненавидит, – «мимо обрамляющих пастбища белых изгородей, скошенных лугов, полей, на которых зреют злаки, и полей, на ко-

торых растет турнепс; мимо сараев, коров, лошадей, прудов, ручейков, источников, водопадов, лужаек, низинок, где растет кресс-салат, зарослей тростника... идет по лугам, проходит многие акры леса, который она ненавидит, подходит к деревне и повторяет тот путь, что проделывал, чувствуя себя Джонни Яблочное Семечко, ее отец, и наконец приближается к вековым кленам, которые она так ненавидит, к величественному старому дому, выстроенному из камня, впечатанному в ее жизнь и ненавидимому ею, тому дому, в котором жила крепкая семья, тоже впечатанная в ее жизнь и тоже его ненавидящая.

В тихий вечерний час, омывающий уголок земли, мысль о котором уже так давно связана исключительно с представлением о покое, красоте, гармонии, мире и радостях, шла бывшая террористка, по своей воле вернувшаяся из Ньюарка в эти места, которые она так ненавидела и отвергала, в разумный гармоничный мир, который презирала с такой силой, что в юношеской не рассуждающей ярости атаковала его и сумела поставить вверх дном... и сразу же сообщила деду, к каким действиям вынудил ее безграничный идеализм» (с. 535–536).

Исследователь творчества Ф. Рота Т. Пэриш в предисловии к роману «Конец идентичности» утверждает, что Мерри являет собой конец идентичности. «Она – это постмодернистский ужас (postmodern horror), который выплеснулся так далеко за границы субъективности, что она в итоге предпочла не быть собой вообще»¹.

Что же касается Шведа, то Цукерман у Рота признается, что понемногу начал осознавать истинное значение Шведа, «куда большее, чем талант в спорте, а именно: талант быть собой, обладать этой странной захватывающей силой и все же говорить и улыбаться даже без тени превосходства, проявляя врожденную скромность того, для кого нет препятствий, кому никогда не нужно бороться, чтобы занять свое место под солнцем» (с. 32).

Читатель, поглощенный художественной стихией романа Филипа Рота, остается с вопросом: есть ли обратный путь от постмодернистской современности к пасторали и спасут ли дело пресловутые политкорректность и толерантность?

¹ Parrish T. The End of Identity: Philip Roth's «American Pastoral» // Shofar. – Baltimore: Purdue Univ. press, 2000. – Vol. 19. Spec. issue 1. – P. 93.